А. М. ЧЕРНЫЙ

ОСЛИНЫЙ тормаз

А. М. ЧЕРНЫЙ

ОСЛИНЫЙ ТОРМАЗ

Рисунки худ. К. Кузнецова

Approved by UNRRA Team 568 — September 1946

Druck: Akademische Buchdruckerei F. Straub, München

Ослиный тормаз

Притаилась, стало быть, наша головная колонна в Альпах в непроходимом ущельи. Капказ не Капказ, а горы этак с полтора Ивана-Великого. Облака, которые потяжелее, по верху цыпаются, ни взад, ни вперед. Водопадина сбоку шумит. Чего-ж ей, дуре, больше делать? Суворов - фельдмаршал само собой в передовой части. Пока вторая бригада в далекий обход поднебесным путем пошла, чтоб французу в зад трахнуть, надо было переждать. А что ущелье непроходимое, Суворову через правый рукав наплевать. Потому прочие начальники-генералы, а он генералиссимус, никаких препятствий не признавал. Где, говорит, древесный муравей проползет, где орел прочертит, там и мои чудо-богатыри ползком-швырком взойдут, скатятся. Дыхания хватит, а не хватит, у себя же и займем . . .

Сидят это солдатики под скалами, притихли, как жуки в сене. Не чухнут. За прикрытием кое-где костерки развели, заслон велик, не видно, не слышно. Хлебные корочки на штыках поджаривают, чечевицу энту проклятую в котелках варят. Потому австрийские союзнички наш обоз с гречневой крупой переняли, своим бабам гусей кормить послали. Сволота они были, не приведи Бог. А нам своей чечевицы подсунули, — час пыхтит, час кипит — отшельник к примеру, небрезгающий и тот есть не станет. Дерьмовый провиант.

Ходит Суворов-князь по рядам, кому кусок леденца из специального кармана ткнет, — „соси за мое здоровье“. Кого по лядунке хлопнет пошутит: — „Знаешь меня, кто я таков?“

— Как-же нам своего отца не знать! Вас, Ваше Сиятельство, по всей России последний черемис и тот знает...

— А может я вражеский шпиен под Суворова подзаделался... Ась? Что-же ты, — спорынья в квашне, сто рублей в мошне, — как зуй на болоте, нос вытянул? Стой не шатайся, говори не заикайся, ври не завирайся!

— Разве-ж шпиен так по русски чесать может?... Да и по глазам кто-ж Ваше Сиятельство сразу не признает...

— Какие такие у меня глаза? Один плачет, другой дремлет, третий за вас всех не спит.

— Такие глаза — будь здоров во веки веков, — отвечает чудо-богатырь, — что прикажи ты мне чичас, батюшка, чтоб я себя самого на шомпол насадил и на костре изжарил, — и глазом не моргну.

Ухмыльнулся Суворов в сухой кулачек, треух свой поперек передвинул.

— Уж ты, сват, лучше не зажаривайся. Авось и живьем пригодишься.

Обошел линию, посты проверил, задумался. Адьютант любимый ему чичас табакерку на ладошке поднес для прояснения мыслей. Чихнул Суворов, эхо ему за горой: „будьте здоровы-с!“ Рассмеялся старик, „покорнейше благодарим!“ И спрашивает адьютанта: „обоз в порядке?“ — „Так точно, за вашим шатром расположившись.“

А тут лунный месяц из-за гребешков альпийских выплыл, снежинки перепархивают, будто белые мотыльки в синьке кипят. Одним словом красота. Ветер на буйных крылах за гору перемахнул, над хребтом грохочет, в ущелье не достигает. Солдат, значит, не подморозит. Перекрестил Суворов адьютантову голову — „ступай спать, Христос с тобой!“ И пошел к себе в киргизский шатер, что всегда за им в обозе возили.

Отвернул вестовой Сундуков кошму, тихим голосом рапортует:

— Зайчиху я тутошнюю в силок поймал. Жирная не уколупнешь. С каких харчей она тут в горах раздобрела, Господь ее знает.

— Ну что-ж, говорит князь Суворов. — И женись на своей зайчихе. Меня в посаженные отцы позовешь.

— Никак невозможно, Ваше Сиятельство, потому я ее зажарил, аржаной корочкой нашпиговал. Окажите бо-



жескую милость, погрызите хоть лапку. Силы вам, батюшка, беречь надо, а вы, можно сказать, одним сквозным воздухом изволите питаться.

Принахмурился Суворов, сальную свечку поднял, морду вестовому осветил.

— Смотри, Васька . . . Загадки гадки, а отгадки с души прут. Я раз в году сержусь, да крепко. Ты что-ж поведения моего не знаешь? Турок ты, что-ли?

— Лайтесь, не лайтесь, Ваше Сиятельство! Хоть жареным зайцем меня по скуле отхлещите, только извольте скушать.

— Эх ты, Васька! Семь в тебе душ, да ни в одной пути нет. Даром что при мне состоишь . . . Когда-ж я своих солдат по скуле хлестал? Хочь в нитку избожись, не поверю. Порцию я свою солдатскую съел, чечевички, брат, сладкая пища. Австрийцы хвалят, — с нее они такие и храбрые . . . А жаркое сам съешь, я тебе повелеваю.

Взял Сундуков зайца за задние лапки, сало с него так и каплет, прямо сердце зашлось. Вышел на мороз и первый раз за всю службу приказания самого Суворова не сполнил: кликнул обозную собачку и шваркнул ей зайца, — „жри, чтоб тебя адским огнем попалило!“

Собачка, само собой, грамотная: хряп-хряп, только и разговору. Посмотрел Сундуков, слезы так бисерным горохом и катятся, к штанам примерзают. Махнул рукой и сел на мерзлый камень звезды считать: какие русские, какие французские . . .

Тут-то, братцы мои, и началось. Сидит Суворов, горные планты рассматривает, — храбрость храбростью, а без ума-бобра не убьешь. И вдруг музыка: ослы энти обозные как заголосят — заревут — зарыдают: будто пьяные черти на волынках наяривают . . . Да все гуще и пуще, — обозные собачки подхватили в голос, с переборами, все выше и выше забирают, словно кишки из них через глотку тянут.

Стукнул Суворов походным подстаканником по походному столику, летит Сундуков, в свечу вытянулся.

— Что там за светопредставление?! Ведьма что-ли бешенного быка рожает?

— Никак нет . . . Ослы поют. Погонщик через переводчика сказывает, будто они завсегда в полнолунную

ночь в восторг приходят, кто кого перекричит. Занятие себе такое придумали, Ваше Сиятельство.

— Ишь ты, скажи на милость. А у меня, сват, свое занятие: соснуть на часок надо, тоже и я не двужильный. Дай - ка пакли из тюфячка, уши заткнуть.

Покрутил Сундуков головой . . . Ах ты, Царица небесная, ужели русскому генералиссимусу из-за такой последней твари и не спать . . . Ишь, как притомился.

Паклю подал, вздохнул и на мелких цыпочках прочь вышел.

Да разве-ж против ослиной команды пакля действует? Месяц стал выше, сияние на полную небесную дистанцию, ослы - стервы только в силу вошли, будто басы - геликоны кузнечными мехами раздувают, да с верхним подхватцем . . .

Тетку твою поперек! Сел Суворов на койку, щуплые ножки свесил, сплюнул. Под пушечный гром спал, под небесный спал, а тут — хочь воском уши залей, не всхрапнешь. Чего делать? Приказать им в мешки морды завязать? За что-ж тварь мучить, погонщика обижать . . . Поколеют, не солдат же в дышла впрягать. И животная полезная, из жил тянется, в гору ли, с горы, ей наплевать. Соломы дадут — схряпает, не дадут — солдатскую пуговку пососет. Экая оказия! . . . Спасибо Создателю, ветер над горой ревет, ослов заглушает. А то-бы беда, враг близко.

Вынырнул тихим манером Сундуков из-за кошмы, стоит, искоса на начальника любимого смотрит. Шагнул ближе, в свечу вытянулся.

— Не извольте, Ваше Сиятельство, безпокоиться, чичас они замолчат.

— А ты что-ж, с обеих концов их соломой заткнешь?

— Никак нет. Голос у них такой, никакая солома не удержит.

— Как же так они, сват, замолчат? Они-ж только во вкус вошли — ишь как наддают, хочь в присядку пляши.

— Не извольте безпокоиться. Чичас полную тишину Вашему Сиятельству предоставлю.

Ушел вестовой. И что-ж, братцы, как по отделениям в одном конце, закупорило, в другом . . . Чуть последний осел сверчком рипнул — и стоп.

Вынул Суворов паклю, прислушался: ни гугу. Ухмыльнулся он, походную думку - подушку поправил, плащем ножки прикрыл и, как малое дите, ручку под голову, — засвистал - захрапел, словно шмель в бутылке. Какой ни герой, а и сам Илья Муромец, надо полагать, сонный отдых имел.

* * *

Утречком, чуть серый день наступил, по горам-скалам до ущелья дотянулся, скочил князь Суворов, сухарик пососал, вестового кликнул. Ледяной воды в рот набрал, в ладони прыснул, ночную муть с личика смыл и спрашивает:

— Что-ж, Василий Панкратьич, ослиный капельмейстер . . . Как же ты их, сват, ночью угомонил? Ась? Шаман ты сибирский, что-ли?

— Никак нет. А как при лунном сиянии позицию их мне разглядет потрафилось, приметил я, что ежели он стерва-осел рыдает, в восторг входить, чичас он хвост кверху штыком . . . Нипочем иначе не может. Такой у него, Ваше Сиятельство, стало быть, механизм . . . Ну, тут уж штука не хитрая, — по камешку я им к хвостам вроде тормаза подвязал, они и примолкли . . .

Рассмеялся Суворов звонко, так личико морщинками и залучилось.

— Ах ты, ослиный министр, чертушка, милый ты человек! Расскажу вот австрийцам, утиным головам, пусть с зависти полопаются . . . Разве - ж им, козодоям, за русской смекалкой угнаться? Ась? Утешил ты меня по самое горлышко. Чем же мне тебя, сват, наградить? Проси чего хочешь, понатужься, — ежели только власти моей хватит, честное слово не откажу . . . Ну?

Вестовой Сундуков осклабился, а сам руку за спину завел.

— Так точно, Ваше Сиятельство! Награждение мое в вашей полной власти, действительно. Вчерась ночью второй заяц в силок попался, — заяц ничего, форменный. Не спал я, для вас изжарил, старался, авось смилуетесь.

Будьте отцом родным наградите вашего верного слугу, извольте откушать!

И зайца из-за спины вытаскивает.

Насупился было Суворов, — посмотрел на вестового и оттаял.

— Хитрый ты, Васька, до невозможности. У лисы ухо срежешь, да ей же и скормишь . . . Счастье твое, слово дал, солдатское слово не олово. Давай, сват, походную вилку - ножик. Только чур, половина мне, половина тебе. А то три дня разговаривать с тобой не буду . . . Согласен?

— Так точно, согласен.

Насупился было и Сундуков, да что-ж поделаешь.

А ослам приказал князь Суворов по гарнцу чечевицы выдать за то, что им ночью ради чужого русского старика лунный восторг перешибли.

Королева — золотые пятки

В старовенгерском королевстве жил король, старик седой, три зуба, да и те шатаются. Жена у него была молодая, собой крымское яблочко, румянец насквозь так себе и оказывает. Пройдет по дворцу, взглянет, — солдаты на страже аж покачиваются.

Король все Богу молился, альбо в бане сидел, барсуковым салом крестец ему для полировки крови дежурные девушки терли. Пиров не давал, на охоту не ездил. Королеву раз в сутки в белый лоб поцелует, рукой махнет да и прочь пойдет. Короче сказать, никакого королеве удовольствия не было. Одно только оставалось — сладко попить - поесть. Паек ей шел королевский, полный, что хошь, то и заказывай. Хоть три куска сахару в чай клади, отказу нет.

Надумала королева как-то гурьевской кашки перед сном поесть. Русский посол ей в день ангела полный рецепт предоставил: мед да мигдаль, да манной каши на сливках, да изюму с цукатцем чайную чашечку верхом. До того вкусно, что повар на королевской кухне, пробовавши, половину приел. И горничная, по корридору несши, не мало хватила. Однако и королеве осталось.

Ест она тихо - мирно в терему своем, в опочивальне, по венгерски сказать — в салоне. Сверчок за голландкой поцыкивает, лунный блин в резное оконце глядит. На стене вышитый плат: прекрасная Гобелена ножки моет, сама на себя любуется.

Глядь-поглядь, вырос перед королевой дымный старичок, личность паутиной обросла, вроде полкового капельмейстера. Глазки с белоголубым мерцанием, ножки щуп-

лые в валенках пестрых, ростом, как левофланговый в шестнадцатой роте, — еле носом до стола дотягивает.

Королева ничего, не испугалась.

— Кто вы такой, старичок? Как-так сквозь стражу продрались, и что вам от моего королевского величества надобно?

А старичок только носом, как пес на морозе, потягивает:

— Ну и запах... Знаменито пахнет.

Топнула королева по хрустальному паркету венгерским каблучком.

— Ежели ты на мой королевский вопрос ответа не даешь, изволь тотчас выйти вон!

И к звонку-сонетке королевскую муаровую ручку протянула.

Тем часом старичок звонок отвел, ножку дерзко отставил и говорит:

— Что-ж так сразу и вон? Я существо нужное и выгнать меня никак нельзя. Я, матушка, домовой, могу тебе впалую грудь сделать, либо, скажем, глаз скосить, — родная мать не узнает...

— Ах, ах!

— Вот тебе и ах... Могу и доброе что сделать: королю дни прибавить, альбо тебе волос выбелить, с королем посравнять. Дай, матушка, кашки, за мной не пропадет...

Зло взяло королеву.

— Ты швабра с ручкой! Нащел чем прельщать... Не про тебя каша варена. Ступай на помойку, с опаленной курицы перья обсоси.

Домовой зубом скрипнул, смолчал и сиганул за портьеру, как мышь в подполье, в сонную ночь.

Наглоталась королева кашки, расстегнула аграмантовые пуговки, чтобы шов не треснул, ежели вздохнет. Хлопнула в белые ладоши. Постельные девушки свое дело знают: через ручки-ножки гардероб ейный постянули, ночной гарнитур скрозь голову вздели. Стеганное собольe одеяльце с боков подоткнули, будто пташку в гнезде об“ютили „Спите с Богом, Ваше Королевское Величество! Первый сон — глаза закрывает, второй сон — сердце пеленает...“

Ладно. Стала она изумрудные глазки заводить. Лампадка в углу двоится. Сверчек поцикивает. В животе кашка урчит, бурчит, по ученому сказать, переваривается.

Тем часом дымный старичок из-за портьерки ухо приклонил: легкий королевский храп услышал. Он, рябой кот, только того и дожидался. На приступочку стал, на другую подтянулся, из-за пазухи кавказского серебра пузырек достал.

А тут королева как раз во сне приятную сладость увидела, всем своим женским составом потянулась, розовые пятки-пальчики из под собольей покрышки обнаружила. Тут старичок и нацелился: вспрыснул пятки из фляжечки, дунул сверху, чтобы волшебная смазь ровней растеклась. Тарелку из под каши облизал наскоро и ходу. Будто и на свете его не было.

Вздохнула королева в обе королевские груди, ручку к сердцу тяжко притулила, и обволокло ее каменным сном аж до самого полдня.

* *

*

Солнце в цветной оконнице павлиньим хворостом полыхает. Караул сменяется, стража у дверей прикладами о пол гремит. Стрепенулась королева, правую щечку заспала — маком горит. Вскинула, было, легкие ножки, ан врешь, будто утюги железные к пяткам привинчены. Пульсы все бьются, суставы в коленках действуют, — однако, пятки ни с места. Заело. Села она кое-как, по стенке подтянулась, глянула под одеяльце, так руками и всплеснула: свет оттедова веером, червонным золотом прыщет. Красота, скажем, красотой, а шевеления никакого.

Прибежали на крик постельные девушки, стража у дверей на изготовку взяла, — кого стрелять неизвестно. Старик король поспешает, халатной кистью пол метет, за ним кот любимый, муаровой масти, лапкой подыгрывает.

Вбежал король, сейчас распоряжение сделал:

— Почему такое? Кто, пес собачий, королеву золотом подковал? Чего стража смотрела? Всех распотрошу,

разжалую, на скотный двор сошлю свиньям хвосты подмывать. Чичас королеву на резвые ноги поставить.

Туда-сюда, взяли королеву под теплые мышки, поставили на самаркандский ковер, а она, как клестер разваренный, так книзу и оседает. Нипочем не устоять. Всунули ее девушки под одеяльце, сами в ногах встали, пальцами фартушки теребят.

— Мы, Ваше Величество, этому делу не причинны. Почему такая перемена, — нам неизвестно.

Опять от короля распоряжение:

— Цыц, сороки! Позвать ко мне лекарей-фельдшерей. Да чтобы беглым маршем, не то я их сам так подлечу, лучше не надо.

Не успел приказать — гул - топот. В две шеренги построились, старший рапортует:

— Честь имеем явиться, Ваше Величество.

То да се, пробовать стали. Свежепросольные пиавки от золотых пяток отваливаются, лекарский нож золота не берет, припарки не припаривают. Нет никаких средствий. Короче сказать, послал их король, озлясь, туда, куда во время учебной стрельбы фельдфебель роту посылает. Приказал с дворцового довольствия снять: лечить не умеют, пусть перила грызут. Прогнал их с глаз долой, а сам с досады пошел в кабинетную комнату сам с собой на русском биллиарде в пирамидку играть.

Той порой по всему королевству, по всем корчмам, постоялым дворам поползли слухи, разговоры, бабьи наговоры, что, мол, такая история с королевой приключилась — вся кругом начисто золотом обросла, одне пятки мясные наружу торчат. Известно, не бывает поля без ржи, слуха без лжи. Сидел в одной такой корчме проходящий солдат 18-го пехотного Вологодского полка, первой роты барабанщик. Домой на побывку шел, приустал, каблучки посбил, в корчму зашел винцом поразвлечься.

Услыхал такое, думает: солдат в сказках всегда высоких особ вызволяет, большое награждение ему за то идет. А тут не сказка, случай сурьезный. Неужто я на самом деле сдрефлю, супротив лекарей способа не сыщу?

Поднял его винный хмель винтом, на лавку поставил. Обтер солдат усы, гаркнул:

— Смирно, черти! Равнение на меня... О чем галдеж-то? Ведите меня сей секунд к коменданту: нам золото с любого места свести, что чирий снять. Фамилия Дундуков. Ведите!

* *

*

Взяли солдата под теплые мышки, поволокли. А у него, чем ближе к дворцу, тем грузнее сапоги передвигаются, в себя приходить стал, струсил. Однако идет. Куда-ж денешься?

Доставили его по команде до самого короля.

— Ты, солдат Дундуков, похвалялся?

— Был грех, Ваше Королевское Величество!

— Можешь?

— Похвальба на лучиновых ножках. Постараюсь, что Бог даст.

— Смотри. Оправишь королеву, век свой будешь двойную говяжью порцию есть. Не потрафишь, — разговор короткий. Ступай.

Солдат глазом не сморгнул, налево — кругом щелкнул. Ать-два. Все равно погибать так с треском... Вытребовал себе обмундирование первого срока и подпрапорщицкие сапоги на ранту, чтобы к королеве не холуем являться. В бане яичным мыльцем помылся, волос дорожный сбрил. В опочивальню его свели, а уж вечер в окно хмурится.

Спит королева, умильно дышит. Вокруг постельные девушки стоят, руками подпершись, жалостливо на солдата смотрят. Понимают, вишь, что зря человек влип.

Ну видит солдат — дело не так плохо: вся королева в своем виде, одни пятки золотые... Зря в корчме набрехали. Повеселел. Всех девушек отослал, одну Дуню, самую из себя разлапушку, оставил.

— Что-ж, Дуняш, как по-вашему такое случилось?

— Бог знает. Может она переела? Кровь золотом свернулась, в ножки ей бросилась...

— Тэк-с. А что оне вчера кушать изволили?

— Гурьевскую кашку. Вон тарелочка ихняя на столике стоит. Ободок бирюзовый.

Повертел солдат тарелочку, — чисто. Будто кот языком облизал. Не королева-ж лизала.

— Кот тут прошедшую ночь околачивался?

— Что вы, солдатик! Кот королю заместо грелки, всегда с ним спит.

Посмотрел опять на тарелочку: три волоска седых к ободку прилипли. Вещь не простая...

Задумался и говорит Дуне:

— Принеси-ка с кухни полную миску гурьевской каши. Да рому трехгодовалого полуштоф нераспечатанный. Покаместь все.

— Что-ж вы одну сладкую кашку кушать будете? Может вам, кавалер, и мясного хочется? У нас все есть?

— Вот и выходит, Дуняш, что я ошибся. Думал я, что вы умница, а вы, между прочим, такие вопросы задаете. Может кашу и не я кушать буду.

Закраснелась она. Слетала на кухню. Принесла кашу да рому. Солдат и говорит:

— А теперь уходите, красавица, я лечить буду.

— Как же я королеву одну-то оставлю. Король осерчает.

— Пусть тогда король сам и лечит. Ступай, Дуня. Уж я свое дело и один справлю.

Вздохнула она, ушла. В дверях обернулась: солдат на нее только глазами зыркнул. Бестия!

Спит королева. Умильно дышит. Ухнул солдат рому в кашу, ложку из-за голенища достал, помешал, на стол поставил. Сам сел в углу перед печкой по киргизски, да в трубу махорочный дым пускать стал. Нельзя же в таком деле без курева.

Ждет — пождет. Только двенадцать часов на башне отщелкало, топ-топ, выходит из-за портьеры дымный старичок, носом по верху тянет, к миске направление держит.

Солдат за печку, — нет его и шабаш.

Короче сказать, ест старичок, ест, аж давится, деревянную ложку по самый черенок в пасть запихивает, с ромом-то каша еще забористее. Под конец едва ложку до рта доносить стал. Стрескал, стервец, все да так



на кожаном кресле и уснул, головой в миске, бороду седую со стола свесивши . . .

Глянул солдат из-за печки: клюнуло. Ах ты, в рот тебе тыква!

Подобрался он к старичку, потрусил его за плечико, — пьян, как штопор, ручки-ножки обвисли. Достал солдат из ранца шило да дратву и пришил крепко-накрепко домового к креслу кругом, скрозь штаны двойным арестантским швом. Ни в одной швальне лучше не сделают.

Сам шинель у королевской кровати разостлал, рукой дух солдатский разгреб, чтобы королеве не мешало и спать улегся, как в лагерной палатке.

Просыпается на заре: что за шум такой? Видит, натужился старичок, покраснел рябой кот, возит кресло по хрустальному паркету, отодраться не в силах. А королева понять ничего не может, с постельки головку румяную свесила, то на старичка, то на солдата смотрит, — смех ее разбирает.

— Не извольте, — говорит солдат, — сомневаться. Мы с ним комерцию в два счета кончим. Эй — говорит — господин золотарь, грузовичек свой остановите, разговаривать способнее будет! Вот.

Старичок, конечно, шипит:

— Чем ты меня, пес, с оберточной стороны приклеил?

— Пришил, а не приклеил. Это, друг, покрепче будет. Ну, милый, белый день занимается, некогда с тобой хороводы водить. Умел золотить, умей и раззолачивать. Давай обратное средствие, не то так тут на кресле и изсохнешь.

Старик умный был, видит, что перышко ему под ребро воткнули. Достал из-за пазушки пузырек перламутровый, насупился и подает солдату: — Подавись.

Однако и солдат не из последних обалдуев был, — репертичку сделать решил.

— А-ну-ка-сь, давай сюда и первый золотильный состав.

Оконце приоткрыл, проходящую кошку из кровельного желоба выудил, снял сапог, сунул ее в голенище. Золотильным составом капнул ей под хвост, так кругом золотой циферблат и обозначился. Капнул из перламутистой сткляночки, враз все сошло.

— Ишь ты . . . Чтоб тебе ежа против шерсти родить!

Чуть он, можно сказать, в присядку не пустился.

Честно-благородно дратву вокруг стариковых штанов подрезал. Вскочил старичок, встряхнулся, как мокрая крыса, и нырнул за портьеру.

Подошел солдат к королевской постели, каблуки вместе, во фронт стал. Королева, конечно, запунцовилась, глазки прикрыла, неудобно ей: хоть он, солдат, заместо лекаря, а все-ж мужчина. На пятки ему пальчиком указывает.

Капнул солдат на мизинный палец с исподу, сразу он порозовел, быдто бутон с яблони райской, — теплотой наливается . . . С полпятки выпрáвил, — сердце стучит, нет мочи.

— Дозвольте, Ваше Королевское Величество, передышку сделать, оправиться. Очень меня в жар бросило с непривычки.

На эти слова повела она ласково бровью. А бровь, словно колос пшеничный, прости Господи . . . .

* *
*

Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Короче сказать, родилось у королевы в положенный срок дите - королевич. Многие давно примечали, что к тому дело шло. Король спервоначалу руками развел, однако, потом ничего — обрадовался.

Пирование было какого, скажем, и в офицерском собрании не бывает. Пили-ели, аж поразстегнулись некоторые. Костей-пробок полную корзину понакидали. Солдат Дундуков на почетном месте, супротив короля сидел. В холе жил после королевиной поправки. Ароматами дворцовыми заведывал, должность ему такую придумали. Каждый день двойная говяжья порция ему шла, папироски курил, не соврать, шесть копеек десяток „Пажеские“. Раздуло его на сладких харчах, словно бугай племенной стал. Многие из служанок-девушек интересовались, одна Дуня брови сдвигала, никогда на него и не взглянет.

В пол-пирование поманил комендант королевский Дундукова пальцем.

Вышли они в прохладительную комнату, комендант по сторонам глянул и громким шопотом говорит:

— Лиса курку скубет, лиса и ответ дает. Дело свое ты Дундуков, своевременно справил, золотыя пятки с королевы, как мозоль, свел. Награждение получил, безсрочный отпуск сполна выслужил. Однако, друг, любезный, надо тебе чичас сундучок собирать, в путь — дорогу отправляться. Маршрут на все четыре стороны. Прогонные — коленом ниже спины из секретного фонда получишь. С Богом, друг! Обмундирование свое второго срока прихватить не забудь. Дезинфекция сделана.

Побагровел солдат, в холодный жар его бросило, однако, спросить насмелился:

— Почему-ж такое?

— Потому такое, что у королевича новорожденного пятно мышастое на правом ухе ... Понял?

— Пятно я свести могу. Должно опять домовой ...

Сунул ему комендант безсловесно под самые усы светлое походное зеркальце: смотри, мол.

Что-ж сытого подчевать? Глянул солдат на свое правое ухо, серьгой замотал.

— Так точно, — говорит, — понял ...

Вышел он на королевский двор, сундучок на ремне через плечо перекинул,

— Эх, ты ... С пухом, с духом, нос на вздержках ... Не хвастай коноплястый — будешь рябенький?

Дуня вверху в окне стоит, мимо смотрит.

Постельные девушки рты ладонями прикрывают, перемигиваются. Вздулся волдырь, да и лопнул! ...

Помаршировал солдат по дороге, в сундучке пуговицы перекатываются. Думает: зря это я сразу две пятки свел. Надо бы хоть с полпятки золотой оставить. Разговор бы другой был. А впротчем что-ж: может еще кого подлечить придется, — в другом королевстве.

Катись горошком

Укатила барыня, командирова жена, на живолечебные воды, на Кавказ, нутренность свою полоскать. Балыку в ей лишнего пуда полтора болталось. Остался муж ейный, эскадронный командир, в дому один. Человек уже не молодой, сивый, хоша и крепкий: спотыкачу в один раз рюмок до двадцати охватывал. Только расположился на полной свободе развернуться, от бабьего гомону передохнуть, глядь-поглядь на двор барынина мамаша на пароконном извозчике вкатывает. Перья на шляпке лопухом, сквозь увальку глазищами, словно вурдалак, так и лупает. Барыня ей, стало быть, секретный наказ послала: „приезжай, последи за моим сахарным. А то без меня дисциплину забудет, — либо обопьется, либо с арфянками загуляет. В дом наведет, из приданных моих чашек лакать будут." Отдохнул значит.

Высадил он мамашу, грозную старушку. Ус прикрутил, глаза вбок отвел и под ручку ее на крыльцо поволок. — „Прошу покорно, заждались! Эй, Митька, тащи чемодан, дорогая мамаша приехамши, — крыса ей за пазуху . . ."

И хоть бы одна заявилась: пса с собой привезла закадычного. Голландской работы, по прозванию мопс Кушка. Личность вроде как у ей самой, только помельче.

Отвели ей с псом самый лучший покой. Расположились, квохчут. Не поймешь, кто с кем разговаривает: барыня ли с собачкой, собачка ли с барыней.

Ходит ротмистр округ стола шпорами побрякивает, ус книзу тянет. Денщика кликнул.

— Продышаться пойду . . . Какие мамашины приказания будут по буфетной части, сполняй. А ежели она начнет под меня подкоп домашний рыть, выспрашивать, — смотри у меня Митрий!

— Слушаюсь, Ваше Высокородие. Промеж дверей пальцев не положу.

Денщик, что ж. Человек казенный. Самовар раздул, мягкие закуски для старой барыни на стол шваркнул. В чашку надышал, утиральником вытер, из варенья муху выудил горсткой, обсосал, — дело свое знает.

Отдохнула старушка. В столовую вкатывается, коленкор ейный гремит, будто кровельщик по крыше ходит. Сзади Купка хрипит, по сторонам, падаль, озирается, собачью ревизию наводит.

Заварила она чаю, половину топленых сливок себе в чашку ухнула, половину Кушке. Голландской работы собачка простого молока не трескает.

Денщик-Митька стоит у окна, мух на стекле подавливает, ждет чего дальше будет.

Старушка на блюдечко дует, невинную речь заводит:

— Что ж ты, друг ананасный, барином своим доволен?

— Так точно. Командир натуральный. Дай Бог каждому.

— Гости у вас часто бывают?

— Батюшка полковой заворачивает. Странники коекогда проходящие . . . Хозяин дома вчерась водопровод проверять приходил. Крантик у нас ослабемши . . .

— Так. Выпивает командир с ними, что ли?

— Не без того, выпивают-с. Клюквенный квас у нас отменный после барыни остался.

— Квас, говоришь? . . . Ну, а сам он куда отлучается, не примечал ли?

— Примечал, как же-с. В манеж ездят на занятия. В бане третьяго дня парились. В парикмахерскую завсегда ходят. Волос у них жесткий, — дома не бреются . . .

— Так-так. На словах твоих хоть выспись . . . Ну, а где ж он обедает без барыни? В собрание ходит?

— Никак нет. Я им кой-чего стряпаю. По средам-пятницам — рыбка. А так — либо каклеты, либо телятина под безшинелью.

Вскинула барынина мамаша глазки: из блохи, мол шубу кроишь, да мне не по мерке.

— Вечерами что-ж твой барин делает?

— Псалтирь читают. Другие господа на биллиардах, а они все псалтирь . . . Либо по тюлю крестиками вышивают.

Харкнула старушка со злости. Ишь, охальник, — руки по швам, язык штопором.

— Кушку моего на променад поведешь. Что сливы-то выпучил? Он уличное гуляние обожает . . . Через улицу, смотри на руках переноси, — извозчики у вас аспиды. Ты мне за него головой отвечаешь.

— Слушаюсь, сударыня. Собачка первоклассная, отчего-ж не ответить . . . Только для вас спокойнее, чтобы я со двора не отлучался.

— Патрет я с тебя писать буду, что ли?

— Никак нет. Не извольте безпокоиться . . . А только на прошлой неделе жулики тут у соседей шарили. Ваших, примерно, лет невинной старушке в русской печке пятки прижгли и ограбили. Вам в случае чего помирать — раз плюнуть, а мне и за вас и за Кушку отвечать . . . Больно много наваливаете.

Испужалась она, завякала:

— Ах, страсти какие! Сиди уж лучше на кухне. Кушку я из окна на веревочке по двору вывожу . . . Матушки-батюшки, город-то у вас какой окаянный!

Денщик руками за спиной поиграл. Кто не слукавит, того баба задавит. Ишь ты, мымра, чего придумала! Чтоб все встречные драгуны да горничные задразнили . . . „С повышеньицем вас, Митрий Иванович, в собачьи мамки изволили заделаться . . .“

* *
*

Заварила барынина мамаша кашу — ложка колом встанет. Куды командир, туды и она, самотеком. Новоселье ли у кого, орденок ли вспрыскивают, все ей неймется. Не с тем, мол, приехала, чтобы пальцы на ногах пересчитывать . . .

Мантильку свою черного стекляруса вскинет, да так летучей мышью рядом и перепархивает с мостков на

мостки. Резвость двужильную обнаружила, — злостькость движет, подол помелом развивает.

Сдаст ее командир в гостях хозяевам на руки, сам в дальнюю комнату продерется — по графинам пройтись, в банчок перекинуться, либо дамочку встречную легким словом зарумянить, — ан старушка контрольная тут, как тут. Карты из рук валятся, водка мимо рта льется. Шершавость у нее в глазах такая была непереносная. Прямо, как скаженный он стал. А не брать нельзя, в чулан мамашу не спрячешь. Жалованье командирское известное: на табак, да на щи. Способие она ему из пензенского имения высылала, — то мундир обновить, то должок заплатить, то копченого - соленого с ползагона. Оттянешь ее за хвост, банку мухоморов пришлет, прощай зятек, постучи о пенек...

И денщику тошно. Известно, барину туго — слуга в затылке скребет. Принесешь—криво, унесешь—косо. Хоть на карачках ходи. Да и Кушка — пес одолевать стал. Небельные ножки с одинокой скуки грызть начал, гад курносый. Денщику взбучка, а пес в углу зубы скалит, смеется — на него и моль не сядет, собачка превелегерованная. Ладно, думает Митрий. Попадется быстрая вошка на гребешок. Дай срок.

Поводил — покрутил командир мамашу, как кобылку на корде, невмоготу ему самому стало. Стал дома рейтузы просиживать. Придет с манежа, чай пьет, бублик промеж пальцев на пол крошит, приказы прошлогодние с досады читает. А она супротив. Как ячмень на глазу. Лопочет, разливается. Разговорная машинка у нее лихо работала. Хошь не отвечай, хошь иа крыльцо выйди на на луну сплюнуть, она знай жернов о жернов точит. Почему попадья перестала в баню ходить, да сколько ветеринар лошадиного спирта незаконно вылакал, да к какой губернантке корнет Пафнутьев на будущей неделе в окно лезть собирается . . . Командир аж побуреет. „Угу“ да „угу“, — только и ответов.

Дошло и до денщика. Раз барин дома сидеть стал, ей не страшно на счет жуликов, которые в печке невинных старушек жгут.

— Ступай, ступай, — говорит, — Митрий, Кушку моего по улицам выводи. Что-ж ты его все по двору таскаешь. Этак ты его до водяного ожирения доведешь...

Насупился Митрий, стакан, который мыл, в руках у него хряснул. Ужели от срамоты этакой так и не отвертеться?...

Пошел на кухню, покрутился там, вертается веселый, с ремешком энтим кобельковым.

— Пожалуйте на променаж, прошу вас покорно!

На сахарок Кушку в переднюю выманил... Однако, слышат — рычит Кушка, упирается, аж дверь трясется. Что такое?!

— Не хотят на улицу. Прямо морду им чуть не оторвал. Изволят упираться...

Попробовала старушка: может денщик-черт нарочно ожерелок потуже затянул? Грех клепать. Все как следовает. Потянула: за ней идет, похрюкивает, животом пол метет. За Митрием — ни с места! Лапы распялит, башкой мотает, будто его в прорубь водяному на закуску тащат.

Глянул ротмистр, задумался. Ведь вот денщику судьба послабление какое сделала. А мамаша-то пензенская сидит, как приклеенная. Не вырывается...

* *
*

Дальше да больше. Дарья-кухарка, через забор жила, кой-когда к денщику забегала — часы в темном углу проверить, мало-ли дел по соседству. Известно: стар хочет спать, а молодые играть. Уследила барынина мамаша, на дыбы стала. „Ступай, ступай, шлендра! Подол в зубки, кругом марш... Нечего чужие сени боками засаливать"... И в сахарнице куски стала с той поры пересчитывать. Денщик только серьгой потряхивает, дюже его забрало. Барин бывало придет из собрания через край хлебнувши, сам себя не видит. — В карты ему случаем пофартит, червонцы из кармана на стол брякнет, — не считано, не меряно. Никогда Митрий дырявой полушкой не попользовался. А тут накося, — сахар!... Присыпала перцу к солдатскому сердцу.

Ладно. Стала она по иному со скуки выкомаривать, откуль что берется. Сидит это вечером, на блюдечко

толстой губой дует, самовар попискивает. Ротмистр из спичек виселицу строит: кому неизвестно.

— Что-й-то, — говорит старушка, — двери у нас скрипят нынче. К дождю это беспременно. Смажь, Митрий, маслом, — мне завтра в гостиные ряды идти, ужель мокнуть.

Денщик человек казенный. Смазал. Язык бы ей смазать, авось бы тоже прояснило.

А она наддает:

— Ты, Митрий, вчерась опять каклетки оставшие с буфета не убрал?

— Виноват. Тараканов на кухне морил, запамятовал.

— Виноват ... А знаешь ты, что это означает? Ежели мышь неубранное после ужина поест, у хозяина зубы разболятся.

Ротмистр под столом шпорами: дзык.

— Чепуха это, мамаша. На нетовую нитку бабьи вздохи нанизаны.

Старушка указательной косточкой по столу постучала.

— Скаль зубки. Конечно, есть приметы сырые: нос чешется, — в рюмку глядеть. Другие ротмистры и без этого выпивают ... Наши пензенские приметы тонкие, со всех сторон обточены. Не соврут ... Скажем — конь ржет, всякий дурак знает — к добру. А вот ежели вороной жеребец в полночь на конюшне заржет — беда! Пожара в этом доме в ту же ночь жди. Хоть в шубе-калошах спать ложись.

Денщик к стенке отвернулся, сухую ложку мокрым полотенцем трет, плечики у него так и ходят. Старушка серку в ухе поковыряла и опять свой варганчик завела.

— Либо поп дорогу перейдет, — отплеваться завсегда можно.

А ежели он мимо перешедши остановится, да табачку из табакерки хватит, да, не приведи Бог, чертыхнется, — уж тому черной воспы не миновать. Я батюшек знакомых, которые нюхающие, за пол версты завсегда обхожу ... Опять-же, собака воет. Случай серый. В какую сторону воет, вот в чем аллигория. На север — неблагополучные роды; на юг — потолок на тебя завалится; на восток — от грыжи помрешь; а коли на запад — молоко тебе в голову безпременно бросится. Приметы без промаху.

Командир виселицу свою спичечную раскидал, встал из-за стола, ноги ножницами раззявил. Голос мягкий, а под ним так смола и пробивается.

— Вы бы, мамаша, Кушку своего отравили, чтоли. Больно много от него, стервы, опасностев. Ето-ж все равно, что на ручных гранатах польку плясать. Спокойной ночи. Пока молоко в голову не бросилось пойду пасьянц Наполеонову-могилу перед сном разложу.

Смолчала старушка. Драгунский обычай известный: все смешки. Погоди, Изюм Марцыпанович, с судьбой шутить, не барьеры брать...

А Митрий, — у буфета он все крутился, — этаким сладким кренделем подкатывается:

— Оно точно-с. Которые благородные сумлеваются. Мужицкий пустобрех. А я верю-с. У нас тоже свои приметы имеются орловские. Выдающие...

— Расскажи, дружок, расскажи. Пирожок, который оставши, можешь себе взять...

— Покорнейше багодарим, закусимши уже. Ежели к примеру пробка в графин не тем концом воткнута значит гость в дому загостился, пора ему, значит, на легком катере к себе собираться.

Глянула она на графин, — поперхнулась, аж глаза побелели.

— Пошел вон, глуздырь! Скажу вот завтра командиру чтоб тебя на хлеб и на воду посадить за приметы твой дурацкие...

* *
*

Пробку, как следовает, перевернула, сахарницу в буфет замкнула, и поплелась к себе с Кушкой на покой — в сонное царство, перинное государство.

Ровно в полночь заржал на конюшне вороной жеребец. Прокинулась барынина мамаша, свет вздула, да к командировым дверям:

— Вставай. — зять. Пожар!

— Дед бабу рожал... В чем дело, мамаша?

— Жеребец твой ржет вороной. Слышишь?

— Не перекрашивать же из-за вас. Я во сне с городским головой пунш пил, а теперь он без меня все высосет. Беспокойная вы старушка . . .

Денщик тут же стоит, держит свечку, будто ружье на караул. Какой там сон! Белая кофта по бокам вьется — чистый саван. Бумажки в волосьях рыбками прыгают. А жеребец так и заливается. Ужасти-то какие!

— Дом-то у тебя хоть застрахован?

Вздохнул ротмистр: по ком этот вздох, тот бы в щепку изсох... И пошел к себе досыпать. Авось городской голова не все выпил.

А мамаша чулки-мантильку надела и до белой зари на сундучке подремала, — либо в эту ночь, либо в будущую гореть беспременно придется.

До утра обошлось, ничего.

А утром еще злее беда накатила. Повела она Кушку на променаж, — с денщиком ни по чем не шел, трах у самой калитки батюшка в трех шагах поперек прошелестел. Остановился, табачку из табакерки хватил, да как чертыхнется: „Экий дьявольский ветер, половину табакерки выдул, бес его забодай!“ . . .

Вернулась старушка, гайки у ее развинтились, по перильцам кое-как подтянулась. Взошла в столовую, шатается. Ротмистр к ручке, а она в кресло так студнем и осела.

— Что еще такое?!

— Ох, друг . . . Накликала на свою голову. Поперечный поп, табак нюхавши, чертыхнулся . . .

Кушку моего тебе завещаю. Имение — дочке. Не подходи, не подходи лучше, я теперь вроде как в карантине. Черной воспы не миновать.

Подивился ротмистр. Жилка у нее на шее бьется, глаза мутные. Одурела что ли мамаша? . . .

Да и впрямь чудно. Как по расписанию все выходит. Махнул перчаткой, шашку подтянул, — „дзык-дзык“, на коня сел и в манеж.

Денщик полоскательной чашкой постукивает, хрустальный стакан в руках пищит. Человек казенный, ему это все без надобности. Мало ли делов? . . . Часы на стене, — время на спине.

Не пила она, не ела целый день. Все пронзительную соль с пробки нюхала, да капустные листья к голове

прикладывала. Сахар - провизию однако пересчитала, что следует выдала - на ключ.

Вечером сидит командир один: пол стакана чаю, пол рома. Мушки перепархивают. Тишина кругом. Будто старушку огуречным рассолом залило. В задумчивость он пришел, в полсвиста походный марш высвистывает. Таракан через мизинный перстень рысью перебежал, — оно по пензенским приметам означает: чирий на лопатке вскочит, альбо денежное письмо получать? Тьфу, до чего мамаша голову задурила!

И вдруг, братцы мои милые, как взвоет Кушка в старушкиной спальне... Чисто гудок паровозный. Выскочила старушка в чем была, шерсть на ей дыбом, да к командиру:

— Куда окно-то мое выходит?!

— На север, мамаша...

Так она и присела:

— Да что же это за напасть такая. Неблагополучные роды?! Это у меня-то? У вдовой старухи?!

— Что же вы ко мне привязамшись? С Кушки вашего и спрашивайте. Денщик в дверях стоит, мнется. Почесал в затылке — и за дверь.

Взвыл Кушка еще пуще.

Кинулась она в свою спальню.

— На юг воет!...

— Это что ж, мамаша, по вашему прискуранту выходит?

— Потолок завалится... Матушки!... Выноси, Митрий, вещи, у меня уж с утра уложены. Часу здесь не останусь.

— Да что же вы, мамаша, в своем ли уме? Потолок дубовый, хоть слонам по ему ходить. Бросили бы...

— Нет, зятек, я то в своем уме, а вот ты попрыгай. Жеребец вороной ржал, поп чертыхался, да еще Кушка подбавил... Чичас к ночному поезду коляску подавай. Помирать, так уж на своих пуховиках...

— Я, мамаша, вашему конфорту не препятствую, а — только, может, приметы ваши пензенские в нашей губернии не действуют?

— Шутить вздумал? Молебен дома отслужу, авось разсосется. Эва, сколько на одну женщину наворочено. Митрий!

Денщик тут как тут. Человек казенный.

На барина смотрит: как, мол, прикажете?

— Что ж, закладывай. Действительно, странно что-то, одно к другому приторочено.

Митрий за вещи, старушка за Кушку, — ротмистр на ходу ее в плечо чмокнул. Катись горошком!

* *

*

Гитары бренчат, стаканы звенят, полон дом гостей, — праздник у ротмистра. За вороного жеребца пили, за ветер, который у скоропроходящего батюшки табак из табакерки выдул, за голландской работы собачку Кушку. Дивятся некоторые, руками разводят. Как все, мол, ладно вышло: сама себя пензенская мамаша легким одуванчиком вышибла. Головы ломают, случаи разные рассказывают один другого мудрее. У кого петух в усадьбе все головой тряс, пока воры кладовую не взломали. Тогда и прекратил. Цыганке одной мышь попала за пазуху, — недели не прошло, струна на гитаре лопнула, да ее по глазу. А у свояченицы городского головы родинка была мышастая на таком месте, что самой не видно, — к добру это . . . Вот она пятьдесят тысяч, как одну копеечку, и выиграла на свой внутренний билет. Поди ж ты . . .

Командир только головой вертит: бабьи побрехушки . . . Глянул он невзначай на денщика, — стоит, стаканы вытирает, глаза щелками лучатся, вот так к ушам и тянется. Как есть лиса в драгунской форме.

Поди-ка, Митька, сюда, поди! Ты что ж это в тряпочку пофыркиваешь? Уж не ты ли, хлюст, тут волшебствами этими жеребячьими занимался? . . .

Молчит Митрий, глаза пучит.

— Говори, чорт, не бойся. Я сегодня добрый. Почему Кушка с тобой гулять на улицу не шел?

— Обидно уж больно, ваше высокоблагородие. Командир полка встренется, во фронт встать надо . . . А тут мопса у тебя на шпоре сидит. Опять же куфарки задразнят.



— Ты, тут, не таранти. Гни так, чтобы гнулось, а не так, чтобы лопнуло . . .

— Так точно. Каблуки я нашатырной водкой натер. Чуть энтого Кушку к каблуку на ремешке притянешь, так он на задок и садится, голосом голосит. Ни одна собачка не вытерпит.

— А жеребец почему ржал? Соли ты ему на хвост посыпал?

— Потому, ваше скородие, забрало меня дюже. Командир в доме один, а тут оне на нас верхом семши сахарницу стали запирать . . .

— Ты про сахарницу брось. Говори, да откусывай!

— Да как же ему не ржать, ежели в полночь вестовой корнета Пафнутьева по уговору кобылу их благородия к нашей конюшне к самой отдушине подвел.

— Шпингалет ты, я вижу . . . А батюшку ты как же ей подсунул?

— Никак нет. Дарья — куфарка отца дьякона подрясник с веревки сняла, — проветривался он. Шляпу ихнюю нахлобучила, бороду мы, извините, из вашей заячьей рукавицы приладили. И того . . . чертыхнулась Дарья . . . действительно. Голос у ее толстый.

Гости кольцом стянулись, смеются. Командир глазами поблескивает. Не нагорит, значит.

— А с собачкой чего проще. Я округ барыниной спальни над плинтусом внизу по стенкам балалаечную струнку приспособил, коробок от ваксы к ей подвесил. За веревку дернешь, коробок тихим манером и дзыкает, с которой стороны требуется. Цельный день Кушку на конюшне репертил, пока он выть не стал под энтую музыку. Собачка музыкальная. Только, ваше скородие, прошу прощения — промашку я дал спервоначалу: на север, это точно, бы выть не следовало. Неудобно-с вышло.

Гости аж присядают, до того им понравилось. Налил командир полную стопку рома, поднес Митрию.

— Пей, бес. На этот раз прощаю. Вот только мамашу огорчил уж очень, сна ее на долго теперь лишил. Шутка ли сказать, приметы какие к ней прикручены . . .

— Никак нет. Не извольте безпокоиться: потолок и пожар при нас и останутся. А насчет черной воспы я им средствие на вокзале дал. Ежели оне мозоль с Куш-

киной пятки вырежут и в полночь его, в хлебный шарик закатамши, натощак съедят, никакая их воспа не возьмет...

Зареготали гости. Командир в ус ухмыльнулся:

— И что ж, поверила?

— Так точно. Полтинничек на чай дали-с. Ужли нашему орловскому способу ихней пензенской приметы не перешибить?

Солдат и русалка

Послал фельдфебель солдата в летнюю лунную ночь раков за лагерем в речке половить, — очення фельдфебель раков под водочку обожал. Засветил лучину, искры так и сигают, — тухлое мясцо на палке - кривуле в воду спустил, ждет-пождет добычи. Закопошились раки, из нор полезли, округ палки цапаются, — мясцом духовитым не кажную ночь полакомишься...

Только было солдат приноровился черных квартирантов сачком поддеть, на вольный воздух выдрать, — шасть, — кто-то его из воды за сапог уцепил, тащит, стерва, изо всей мочи, прямо напрочь ногу с корнем рвет. Уперся солдат растопыркой, иву-матушку за волосья ухапил, — нога-то самому надобна... Мясо живое из сапога кое-как выпростал, а сапог, к теткиной матери, в воду рыбкой ушел...

Вскочил он полуобутый, глянул вниз. Видит русалка, мурло лукавое, по мокрую грудь из воды выплеснулась, сапогом его дразнит, хохочет:

— Счастье твое, кавалер, что нога у тебя склизкая! А то-б не ушел... Уж в воде я-б с тобой в кошки-мышки наигралась.

— Да на кой я тебе ляд, дура зеленая? Играй с окунем, а я человек казенный.

— Пондравился ты мне очень. Морда у тебя в веснушках, глаза синие. Любовь бы с тобой под водой крутила...

Рассердился солдат, босой ногой топнул:

— Отдай сапог! Рыбья кровь... Лысого беса я там под водой не видал, — у тебя жабры, а я-б, как пустая

бутылка, водой залился. Да и какая с тобой, слизь речная, любовь? На хвост-то свой погляди.

Тут ее, милые вы мои, заело. Насчет хвоста-то... Отплыла напрочь, посередь речки на камень присела, сапогом себя, будто веером, от волнения обмахивает.

Солдат чуть не в плач:

— Отдай сапог, мымра. На кой он тебе, один-то. А мне, полуразутому, хочь и на глаза взводному не показывайся... С'ест без соли.

Зареготала, она, сапог на хвост вздела, — и одного ей достаточно, — да еще и помахивает. Тоже и у них, братцы, не без кокетства...

Что тут сделаешь. В воду прыгнешь, — заласкочет, просить не упросишь, — какое-ж у нее, у русалки, сердце...

А она, с камушка повернувшись, кое чего и надумала:

— Давай, солдатик, наперегонки гнаться. Я вплавь, по воде, а ты по берегу — вон до той ракиты. Кто первый достигнет, того и сапог. Идет?

Усмехнулся про себя солдат: вот фефела-то... Ужель по сухопутью легкие солдатские ножки нехристь пловучую не одолеют?

— Идет, — говорит.

Подплыла она поближе, равнение по солдату сделала, — а он второй сапог с ноги долой, да под куст и шваркнул. Чтобы бежать способнее было...

Свистнула русалка. Как припустит солдат, — трава под ним на-двое, в ушах ветер попискивает, сердце — колотушкой, медяки в кармане позвякивают... Уж и ракита недалече, — только впереди на воде, видит он, вода штопором забурлила, и будто рыбья чешуя цыганским монистом на лунной дорожке блестит... Добежал, — штык ей в спину! — плещется русалка супротив ракиты, серебряным голосом измывается:

— Что-ж вы, солдатик, запыхавшись? Серьгу бы из уха вынули, — бежать бы легче было... Ну, что-ж, давай повернем. Солдатское счастье, поди, с изнанки себя обнаруживает...

Повернулся солдат и отдышаться не успел, да как вдругоряд дернет: прямо из кожи рвется, локтем поддает, головой лозу буравит... Врешь, язви твою душу, — в

первый раз недолет, во второй перелет, — разницей подавишься:

Достиг до первоначального места, глянул в воду, — так фуражку о земь и шмякнул. Распростерлась рыбья девка под кручей, хвост в кольцо свивает, солдату зеленым зрачком подмигивает:

— С легким паром. Что-ж ты серьгу так и не снял? Экой ты, изумруд мой, непонятливый. Камушек пососи, а то с натуги лопнешь.

Сидит солдат над кручею, грудь во все мехи дышит... Стало быть, казенному сапогу так и пропадать? Покажет ему теперь фельдфебель, где русалки зимуют. Натянул он второй сапог, что для легкости разгона снял, — слышит под портянкой хрустит чтой-то. Сунул он руку, — ах, бес. Да это-ж губная гармония, — за голенищем она у солдата завсегда болталась... У конопатого венгерца, что мышеловки в разнос торгует, в городе купил.

Приложился с горя солдат к звонким скважинам, дохнул, слева-направо губами прошелся, — русалка так и стрепенулась.

— Ах, солдатик! Что за штука такая?

— Не штука, дура, а музыка ... Русскую песню играю.

— Дай мне. Ну-ка, дай! ... Я в камышах по ночам вашего брата приманивать буду ...

Ишь, студень холодный, чего выдумала. Чтоб землякам на погибель солдат же ей и способ предоставил ... Однако, без хитрости и козы не выдоишь. Играет он, на тихие голоски песню выводит, а сам все обдумывает: как бы ее, скользкую бабу, вокруг пальца обвести.

— Сапог вернешь, тогда, может, и отдам ...

Засмеялась русалка, аж по спине у него холодок ужом прополз.

— Сойди-ка, сахарный, поближе. Дай гармонь в руках подержать, авось обменяю.

Так он тебе и сошел ... Добыл солдат из кармана леску, - не без запасу ходил, - скрозь гармонь продел, издаля русалке бросил.

— На поиграй ... Я тебе, - даром что чертовка, - полное доверие оказываю. Дуй в мою голову ...

Выхватила она из воды игрушку, в лунной ручке зажала, да к губам, - глаза так светляками и загорелись. Ан, вместо песни пузыри с хрипом вдоль гармонии бе-

гут. Само собой: инструмент намокши, да и она, шкура, понятия настоящего не имела . . . Зря в одно место дует, - то в себя, то из себя слюнку тянет.

— В чем, солдат, дело? Почему у тебя ладно, стежок в стежок, а у меня будто жаба на луну квохчет?

— А потому, красава, что башка у тебя дырява . . . Соображения в тебе нет. Гармонь в воде набрякла, - я ее завсегда для сухости в голенище ношу. Сунь-ка ее в свой сапог, да поглубже заткни, - да на лунный камень поставь. Она и отойдет, соловьем на губах зальется. А играть я тебя в два счета обучу, как инструмент - от подсохнет.

Подплыла она, дуреха сырая, к камушку, гармонь в сапог, в самый носок честно забила, - к бережку вернулись, хвостом, будто пес, умиленно виляет:

— Так обучишь, солдатик?

— Обучу, рыбка. Козел у нас полковой, дюже к музыке неспособный, а такую красавицу как не обучить... Только, что мне за выучку будет?

— Хочешь земчугу горстку я тебе со дна добуду?

— Что-ж, вали. В солдатском хозяйстве и земчуг пригодится.

Мырнула она под кувшинки, - круги так и пошли.

А солдат не дурак, - леску-то неприметную в руках дернул. Стал он подтягивать, - гармонь поперек в сапоге стала . . . Плюхнулся сапог в воду, да к солдату по леске тихим манером и подвалился.

Вылил солдат воду, гармонь выудил, в сапог ногу вбил, каблуком прихлопнул . . . Эх, ты, выдра, тебя загрызи! . . . Ваша сестра хитра, а солдат еще подковыристее . . .

Обобрал заодно сачком раков, что вокруг мяса на палке кишмя-кишели, да скорее в лозу, чтобы ножки обутые скрыть.

Вынырнула русалка, в ручку сплюнула, - полон рот тины, - в другой горсти земчуг белеет . . .

— Примай, кавалер, подарок . . .

Бросил он ей фуражку, не самому-ж подходить:

— Сыпь, милая . . . Да дуй полным ходом к камушку, гармонь в сапоге-то, чай, на лунном свете давно высохла.

Поплыла она наперерез, а солдат скорее за фуражку, земчуг в кисет ссыпал, - вот он и с прибылью . . .

Доплыла она, шлендра полоротая, на камушек тюленем взлезла, да как завоет, - будто чайка подбитая:

— Ох, ох! А сапог-то мой где? Водяник тебя задави-и-и . . .

А солдат ей с пригорка фуражечкой машет:

— Сапог на мне, гармонь при мне, а за земчуг покорнейше благодарю. Танюша у нас сухопутная в городе имеется, как раз ей на ожерелко хватит . . . Счастливо оставаться, барышня. Раков, ваших подданых, тоже прихватил, - фельфебель за ваше здоровье полускает . . .

Сплеснула русалка лунными руками, хотела было пронзительное слово загнуть, - да какая-ж у нея супротив солдата словесность.



ОГЛАВЛЕНИЕ

Approved by UNRRA Team 568
September 1946

Druck:
Akademische Buchdruckerei F. Straub,
München